

Даниил Лукич Мордовцев
НАНОСНАЯ БЕДА
Историческая повесть времени
чумы на Москве
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. КАГУЛЬСКАЯ ЦЫГАНКА

Весною 1770 года отряды русских войск после жарких победных схваток под начальством генерала фон Штофельна с передовыми турецкими отрядами в окрестностях Кагула и Галаца двигались по распоряжению главнокомандующего графа Румянцева-Задунайского вдоль правого берега Прута к Яссам.

Несмотря на то, что это было еще в начале мая, дни стояли знойные. От утра до ночи раскаленное солнце, утомительно медленно двигаясь по голубому, такому же, по-видимому, знойному небу, ни разу вот уже несколько дней не встречало на нем ни одного облачка, которое могло бы заслонить собою хоть на час это безжалостное, раскаленное Богом добела и брошенное над томящеюся от зноя землею неотразимое ядро. Степь — голая, серая, выжженная солнцем, словно

проклятая Богом пустыня, не дает ни тени для освежения наболевшей от жару головы, ни влаги, чтобы промочить пересохшее, как и эта безжалостная степь, горло. Прут отошел далеко в сторону, словно бы и ему опостылела эта серая, мертвая пустыня, и не на чем отдохнуть утомленному однообразием глазу, не на чем остановиться притупленному вниманию. Медленно и нестройно, словно после поражения, плетутся отряды в этом пекле, в «вавилонской печи огненной», как обозвал с досады эту знойную степь отец Сила, полковой священник Азовского полка.

Отец-иерей лежит в фургоне, вместе с обозом, следующим за отрядами, и от времени до времени высовывает из своего колесного шалаша всклокоченную бороду и заспанные глаза, чтобы в сотый раз удостовериться, что нет впереди ни воды, ни лесу.

— И впрямь пустыня Аравийская, — ворчит он, пряча голову под навес кибитки.

Солдаты, большею частью босиком, с казенными башмаками и ранцами за спиной, медленно идут там кучками, словно овцы, там врассыпную, как дудаки в степи, и редко-редко перекидываются то остротами, то крепким словом, то руганью на жарынь и другими замечаниями критического свойства. Обозные лошади немилосердно фыркают, отбиваясь от мух, слепней

и оводов. Едва влекомые усталыми артиллерийскими конями медные пушки до того накалены, что к ним боятся дотрагиваться утомленные солдатики. И пехота и конница, животные и люди, даже полковая косматая собачка Малашка, — все это чувствует на себе тягость знойного перехода.

— Что, «хохли — все подохли», тепло? — спрашивает загорелый, веснушчатый, с красными бровями и рыжими ресницами юркий солдатик своего мешковатого товарища с черным как голенище лицом.

— Э! До чертова батька тепло.

— А пить небось хочешь?

— Ще б не хотить! Аж шкура болит.

— Квасу бы, поди? А?

Товарищ молчит, насупился, сопит и шагает.

— С ледком бы кваску? А, хохли, ладно бы чу?

Молчит «хохли» на такую неуместную шутку. Напоминать о квасе со льдом в этом пекле, да это нож острый!

— А ты язык высунь, полегшает.

— Да замовчи ты, собачий сын! — сердится хохол.

— Я толком тебе говорю, высунь... Вон видишь, Малашка поумней тебя, высунула небось.

Собака, услышав свое имя, подбежала к

солдатам, махнула хвостом в знак внимания.

— Видишь, — продолжал рыжий, указывая на собаку, — она высунет язык, слюни у нее текут... Ну, ей и квасу не надо...

Мешковатый хохол хотел сплюнуть с досады, но во рту не оказалось даже слюны.

— Тьфу ты, черт! От бисова туречина!

— А ты пулю в рот положи, это помогает.

— Яку пулю?

— Да вот яку.

И рыжий, вынув изо рта пулю, показал ее хохлу. Собака тоже любопытствовала узнать, что там такое, не съедобное ли...

— Что, Маланья, и тебе пулю дать? — продолжал рыжий. — Да ты, сучья дочь, проглотишь ее, а пуля-то казенная. А ты вот что, хохли, слушай меня: положи пулю в рот, она сок даст.

— Что ты брешешь?

— Пес брешет, а не я... Эдак старые солдаты всегда делают: коли пересохло во рту, бери пулю... В ей, братец ты мой, вода есть; вот она штука-то какая...

Где-то позади, в обозе, поет чья-то протяжная песня:

Вылетала голубица на долину,
Выроняла сизы перья на травину...

В это время в передних отрядах слышались радостные возгласы. Они переходили от группы к группе.

— Что там? Уж не турки ли?

— Вода! Вода-матушка, братцы!

— Видро выпью, — сурово пробормотал оживившийся хохол.

Маланья, видя общую радость, визжала от счастья, перебегая от одного солдата к другому. Лошади ржали. Отец Сила торопливо рылся в фургоне, ища дорожный баклажек.

— Яко слепь на источники водные стремится, радуясь, — бормотал он.

Скоро сделали привал на берегу Прута. Везде стоял гул невообразимый. Солдаты и лошади торопились к воде, последние бились, рвались из упряжи. Маланья чуть ли не первую забралась в воду и, налакавшись всласть и выкупавшись, неистово лаяла, цепляясь за морду лошади, которая торопилась к воде. Походная жизнь научила умную собаку некоторым кавалерийским приемам: она знала, что солдаты не позволяют лошадям пить воду тотчас после похода, пока они не остыли, и продувная собачонка не пускала лошадь к воде...

— Держи ее, держи, Маланья! — подзадоривал рыжий, стоя на карачках и смачивая водой свою рудую голову.

Хохол, исполнив обещание, выпил чуть ли не целое ведро воды, и мыл свои усталые ноги. Другие солдаты купались. Отец Сила, стоя на берегу в одном подряснике, рассуждал сам с собой:

— Се вода, что возбраняет мне купаться?

Место для привала было великолепное. Ровный, несколько обрывистый к реке берег Прута местами покрыт был прошлогодним пересохшим камышом, сквозь который проросли стебли нового, зеленого и заглушали эту отжившую старость. Кое-где торчали, словно горбатые и неуклюжие старухи, толстые, дуплястые стволы ивняка-тополя, с тонкими, словно не им принадлежащими и врозь раскинутыми ветвями, на которых уже висели солдатские ранцы, наскоро вымытые рубахи, плохо вымытые портянки и запыленные башмаки. Там-сям уже курился дымок, то солдаты развели огни, чтобы сварить себе каши, у кого была крупа, или смастерить сухарные щи с диким щавелем, росшим по берегу. По временам, в общем гуле голосов и лошадиного ржанья слышался звонкий голос полковой Маланьи, которая гонялась уже в камышах за молодыми утиными выводками...

Полковому начальству успели разбить палатки, и там между офицерами шли оживленные толки о войне, об удачных поисках за турецкими отрядами. Упоминались имена Румянцева, Суворова, Орлова...

— Помогли бы нам черногорцы с той стороны да сербы, так мы бы и до Константинополя дошли, — говорил полковник фон Шталь, сухопарый немец с холодными глазами.

— Матушка-императрица писала графу: «Подожгла-де я турецкую империю с четырех концов»... Загорится ли только? — заметил генерал фон Штофельн.

— Как солома вспыхнет, ваше превосходительство, — бойко отвечал молодой белокурый офицер. — У нашей государыни рука легкая... Да и чума нам поможет...

— Так-то так, молодой человек, — задумчиво возразил фон Штофельн, только чума, государь мой, опасный союзник...

— К нам она не пристанет... Она больше любит азиатов...

— Дай-то Бог...

Недалеко от генеральской палатки, у самого берега реки, на небольшом коврике, разостланном под тенью старого тополя, сидели три молоденьких сержанта. Один из них, прислонившись спиной к стволу дерева и подперев голову руками, сидел молча, а двое других, покуривая трубки, изредка перекидывались замечаниями, видимо, наслаждаясь отдыхом.

— Да что ты, Саша, такой скучный? — спросил один из них, сильный брютет с серыми

глазами, обращаясь к тому, который молчал, склонив голову на руки. — Все об невесте тоскуешь?

— Не знаю, так, тоска какая-то, — отвечал тот, не поднимая своей белокурой курчавой головы.

— Ну, вот еще! Так напустил на себя...

— Нет, не напустил... А мне что-то страшно.

— Чего же страшно? Турок здесь нет, да ты и не из трусливого десятка.

— Я и сам не знаю. Но такая тоска, такая смертная тоска, что хоть утопиться, так впору...

А в обозе, позади артиллерии, опять поет заунывная, тоскливая песня:

Заной, заной, сердечушко — эх, ретивенькое!
Кормил-поил красну девку — эх, и прочил за себя!

Досталась моя любушка — эх, иному, не мне,
Эх, что иному, не мне — лакею-свинье...

Молодые люди засмеялись. Не смеялся только тот, который говорил, что его сосет тоска.

— Еще бы! Кормил-поил, а она досталась свинье-холую, — заметил другой сержант с непомерно широкими плечами. — Ну, а твоя Лариса тебе и достанется... О чем же тосковать?

— Я сам не знаю, но это вот уж несколько дней... С той самой ночи, как мы языка добывали

под Кагулом... У меня из ума нейдет старая цыганка...

— Какая цыганка?

Тот, к которому относился этот вопрос, сначала как бы что-то припоминал, безмолвно глядя в далекое пространство, открывающееся за Прутом, а потом, приложив ладони к вискам и крепко сжав голову, со вздохом заговорил:

— Я уж думаю, что она испортила меня. Я вам не говорил об этом... А вот как было дело: казаки выследили цыгана, который ночью пробирался через нашу цепь, и донесли об этом полковнику. Полковник тотчас же послал меня с тремя казаками достать этого цыгана. Ночь была темная, зги не видать... Тихо кругом, так тихо, что слышно, как сердце у тебя стучит под кафтаном... Ползком мы пробрались к цыганскому табору — там все спали... Один шалаш стоял далеко на отшибе, у овражка, и там светился огонек... В овражке лежал наш сторожевой казак... Из овражка мы и подобрались к шалашу... Цыган только что собирался уходить, должно быть, к туркам, к Кагулу, как мы повалили его, связали и заклепали ему рот... В этот момент из шалаша выползла цыганка, схватила было меня за руку, но я наставил ей кинжал в грудь... Я зажал ей рот и втащил в шалаш... Там и ее связали... А она, проклятая ведьма, припала к моей руке и ну целовать ее... Я

отдернул руку. А она ощерила свой страшный беззубый рот и говорит: «Помни кагульскую цыганку Мариулу, помни... Я поцеловала твою руку... Помни поцелуй Мариулы, я посылаю его всей вашей проклятой земле... Я...» Только ей не дали договорить заклинанья, казак отрубил ей голову шашкой... кровь брызнула мне в лицо, ужасная седая голова, скатившись на землю, хлопала глазами, какие страшные белки!.. и язык высунула, длинный, белый, страшный... О! Я не могу забыть этой ужасной, хлопающей глазами головы, мертвой головы. Она заклала меня, испортила...

А из обоза опять доносится песня:

Подуй, подуй, погодушка — эх, не маленькая!
Раздуй, развей рябинушку — эх,
кудрявенькую!

— Проклятая песня!..

— Зачем проклятая! Наша родная,
рязанская...

— Душу всю вымотала...

Настали прохладные сумерки. Костры все ярче и ярче разгорались. Знойный день забыт, забыты все трудности и опасности войны, тяжелые переходы, безводье, бесхлебье...

В обозе тренькает балалайка, а под это

треньканье бойкий голос выгаркивает:

Вниз по Волге по реке,
У Макарья в ярмонке,
У Софонова купца,
У гостинова двора,
Солучилась беда
Что беда-беда-беда,
Эх, не маленькая!..

К утру молодой сержант метался в жару.
— Что, Сашка, голова болит? — спрашивают
товарищи.

— Ох, как болит! Я не встану уж.

— Полно! Что ты! Простая лихорадка...

— Нет, я умру... Тут огонь...

Больной силился расстегнуть ворот
рубашки... На голой, покрывшейся красными
пятнами груди блеснул маленький
образок-складень...

— Какой он горячий... Тут ее волосы... Ах,
Лариса... милая... не видать уж мне тебя...

— Перестань, Саша... Сейчас доктор
придет...

Больной прижал образок к пересохшим
губам... Две слезы выкатились из-под отяжелевших
ресниц и скатились с горячего лица на ковер.

— Когда я умру, положите со мной ее

волосы... а образок отвезите ей, и мои волосы к ней отвезите... она просила...

— Ах, Саша, Саша!

— Мариула... это она, проклятая... «Помни Мариулу кагульскую»... Мертвые глаза хлопают... белки страшные... Мертвым языком она прокляла меня... Ох, душно... горит... дайте воды... льду... бросьте меня на лед... утопите в проруби...

Из-за приподнятого полога палатки показалось круглое, веселое, лоснящееся лицо.

— А! Доктор!

Доктор шариком вкатился в палатку.

— Что, батенька, лихорадочку стяпали, молдаваночку? А? Стяпали-таки? — улыбаясь и потирая круглые, пухлые руки, тараторил кругленький, словно на вате, доктор. — Лихорадушки-трясунюшки, в жар метанюшки... а?

— Нет, доктор, хуже...

— Те-те-те! Уж и хуже... Пустячки, батенька. А покажите язычок.

Больной с трудом открыл пересохший рот с запекшимися и растрескавшимися губами и показал кончик языка.

— Те-те-те...

беленький-желтенький-сухенький... Ну, и глазки не веселенькие... Так, так... лихорадушку, батенька, стяпали... А мы ей, шельме, хинушки-матушки, да бузинового чайку, да ликворцу эдакого

какого-нибудь, да господина Кастора Проносихина, да еще там того-сего сладенького, ну, и ее, шельму, как рукой снимет.

Смеясь и каламбуя, доктор, однако, зорко всматривался в его горящее лицо, в мутные глаза, в багровые пятна на груди.

— Ишь ты, шельма... Нет, батенька, мы ее в шею... Вот придут солдатики с носилочками да понесут вас, дружка милого, в лазаретный фургончик, там помягче, подушевнее будет...

— И я не умру, доктор?

— Ай-ай-ай! Уж и умру... Пустяки, батенька... Еще на свадьбе попируем.

— Ох, горит там... Лариса... милая... Матушка...

— То-то, Лариса... Занозила, знать... Ну, с Богом...

И доктор выюркнул из палатки. За ним вышел один из товарищей больного.

— Ну что, доктор, он опасен?

— Ничего, пустяки... Только вы, батенька, подальше от него: у него, шельмовство, гнилая горячка... прилипчивая, сука, у! Прилипчивая!

— Так нет надежды?

— Пустяки! Как нет? Денька два поваляется...

— И встанет?

— Ну, уж встать где же!

— Как! Отчего же так долго?

— Да оно, батенька, недолго... Может, и сегодня Богу душу отдаст...

Черномазый сержант отскочил в ужасе:

— Что вы!

— Ничего... все пустяки... Тут отвертеться нельзя, вся кровь заражена. Завтра же похороним... Все же лучше умереть тихо, на постельке, а не под ножом у нашего старшего мясника, где-нибудь на перевязочном пункте... Там умирать беспокойно. А у нас... Ведь, подумайте, батенька, какое блаженство умереть на чистенькой подушечке с руками и ногами целехонькими, без крику, без гаму... Малина, а не смерть! Прощайте! Сейчас придут носильщики. А вы руки-то себе укусцем помойте, да и вообще, одним словом, подальше от этой шельмы-молдаванки...

И доктор исчез за палаткой. А больной, лежа на своем жестком ковре, бессмысленно глядел на синее небо из-за полога яркое небо, которое обещает и сегодня быть таким же спокойным, каким было вчера... Вход в палатку обращен на север, туда, далеко-далеко, к родному краю... Там не так жарко, не так душно... никогда душа не горела там таким адским огнем.

Ох, тяжко... Седая голова качается... нет, это голова старой матери грезится наяву, а не страшная отрубленная голова цыганки... Кротко смотрят материнские глаза, так кротко, что, глядя в них,

плакать хочется...

Из-за полога показывается морда собачонки и, весь в репейниках, хвост.

— А! Это ты, Малаша...

Малаша вбегает в палатку и радостно вертится около больного, стараясь лизнуть его руки, лицо.

И та страшная цыганка кагульская хотела лизнуть... Какой язык... какие белки!..

Входят носильщики. Что это у них на руках? Что-то черное... Смоляные рукавицы...

Вместе с ковриком его поднимают с земли и кладут на носилки.

«Так носят убитых... Разве я убит?» — думается смутно.

Несут... голова кружится... небо голубое-голубое, а словно оно опрокинулось... вертится... тополи куда-то бегут... Птица какая-то низко-низко проносится в воздухе и заглядывает в глаза... Чего ей нужно?..

Заной, заной, сердечушко — эх, ретивенькое!

«Что это, поют? Нет, это кто-то плачет... О ком?»

Прошел и этот знойный день. Ранним утром, у берега, на пригорке, рыжий, с красными бровями солдат и мешковатый хохол копают могилу. Глубоко уже выкопали, так глубоко, что рыжей головы копальщика уже не видать оттуда. Из ямы

вылетают только комья желтой сырой земли. Тут же и собачонка, которая любопытствует заглянуть в яму...

— В холодке будет лежать молодой сержант, — говорит рыжий солдат, отирая пот со лба. — Ну, будет.

Хохол молча подает руку и вытаскивает товарища из могилы. Собака радостно ластится к нему: она боялась, что рыжего заруют там.

А вон и его несут, того, которого заруют... Отец Сила с крестом впереди, многих он проводил с этим крестом... А «он» не он уже: это что-то завернутое в белый холст — ни лица не видать, ни рук, ни ног — просто белый мешок, несомый на носилках привычными руками в смоляных рукавицах... Э! Мало ли их переносено!..

Ставят носилки у самой могилы... Батюшка что-то читает... «Земля еси и в землю отыдеши»...

А небо такое голубое, такое высокое... «Земля еси»...

II. «ОНА, АНАФЕМСКАЯ, ЛЕТАЕТ...»

Холодное осеннее утро. Чуть брезжут на небе медленно потухающие звезды. В морозном воздухе далеко разносится какое-то, словно бы усталое, бряканье колокольчика. Привычное ухо отличает в этом бряканье голоса почтовых колокольцев.

Там, откуда несутся эти усталые позвякивания, темно еще, ночные тени не сходят еще с земли. Да и везде кругом темень, ночные тени. Только вдоль одного воскрайка неба, к северу, тянется неровная линия каких-то зловещих огней: не то горят разложенные костры, не то полоса пожаров растянулась от одного края горизонта до другого — то ярко вспыхнут и трепыхаются огненные пасмы, то мигают во мраке отдельные огненные пятна и точки, словно глаза волка, в глухую ночь пробирающегося к овечьему загону.

Что это такое?.. Что за зарево?

Звяканье колокольцев все ближе и ближе. Из тьмы неясно вырисовываются очертания дуг, лошадиных голов, каких-то повозок... Ближе и ближе, яснее и яснее выступают из мрака кони, повозки, очертания возниц, людей.

Проезжающие в двух повозках: одной, крытой к задку, кузовом, другой простой ямской телеге. Они-то и звякают сонными колокольцами.

Жутко, страшно смотреть издали на эту неведомую линию огней и дыма с куревом... Да, виднеется и дым по мере приближения к линии огней... Словно земля вспыхивает и горит — и страшен вид этой горящей земли. Кто же жжет землю?

Вон бродят какие-то тени около огней. Виднеются шесты, колья, дубье и еще что-то

длинное в руках этих зловещих человеческих теней.

— Что это за зарево? — тихо спрашивает молодой, в дубленом полушубке с военными нашивками проезжий, что в первой повозке. — Разве под Москвой, у Коломны, паливали когда степи, как палят их по Дону, на низах да по Пруту в Бессарабии?

— Не степи палят, а это, поди, бекеты, — так же тихо отвечает другой, рядом с первым сидящий проезжий, одетый в волчью шубу.

— Зачем бекеты? Какие?

— Сторожевые... карантенные... Вот влопались!

— Что ты, Игнатий! Ужли карантен? Вот беда! — испуганно воскликнул первый.

— Что? Что такое? — удивленно спрашивает третий путник в медвежьей шубе, проснувшийся от восклицания первого.

— Беда, полковник... На карантен наткнулись, кажись... Бекеты...

— Да их к Москве не было...

— Вон огни... курево... народ.

А огни все ближе, ярче, зловещее... И зловещие человеческие фигуры с дубьем, длинными шестами и баграми тоже надвигаются ближе...

— Стой! Кто идет? — раздается голос из кучки, загородившей дорогу.

— Остановь лошадей! Ни шагу!

Окрики грозные, решительные. Так даром кричать не станут... Дело нешуточное, окрик ставят ребром...

Повозки останавливаются. Дубье, шесты, багры, кулаки в чудовищных рукавицах, энергичные жесты этих чудовищ-рукавиц в воздухе, да перед всем этим кто не остановится!

— Кто едет?

— Ее императорского величества войск полковник и кавалер фон Шталь! отзывается смелый голос из медвежьей шубы.

Дубье, вилы, шесты, багры надвигаются гуще, но не ближе... Зипуны и кафтаны скучиваются, вырастают в стену, а за ними гул, треск, новые голоса...

— А откелева путь держите? — допрашивают люди с дубьем.

— Из благополучного места, — отвечают из повозки.

— А из каково-таково? Сказывай!

— Из города Хоти на...

— У!.. Гу!.. У! — начинается ропот. — Нету таково города...

— Нету, не слыхивали. У!.. Гу!..

— Прочь с дороги! Пропустите! — повелительно кричит полковник фон Шталь, тот сухой немец с холодными глазами, которого во

время привала русских отрядов при Пруте, в Бессарабии, мы видели в палатке генерала фон Штофельна. — Расступись! Я по казенной, от его сиятельства графа Румянцева-Задунайского.

— Не пропускай, братцы! В загон их! — угрожающе выкрикивают десятки глоток.

— В досмотр их! В карантей! Гони в карантей!

— Заворачивай назад, откуль приехали...

— Что вы! Взбесились!..

Да, взбесились... Страшно волнующееся море серых зипунов, когда оно взбесится, ошалееет... Вторая телега тоже наткнулась на дубье...

— Стой! Кто едет? Откелева?

На этот отклик из телеги залаяла собака.

— Стой, черти! Кто едет? — повторяется оклик.

— Ординарцы полковника Шталова! — бойко отвечает знакомый голос, голос рыжего солдата с красными бровями, того, что рыл могилу молодому сержанту на берегу Прута.

— Откелева?

— Из благополучного места.

— Каково таково?

— Та из благополучного ж, чертовы москали! — раздаётся сердитый оклик из телеги, и тоже знакомый голос: это голос того мешковатого хохла, что там же, вместе с рыжим солдатом, у

Прута, рыл могилу молодому сержанту.

— Не пущай! Гони и этих в карантей! В загон их.

— А, бисова Москва! — ворчит хохол.

А Маланья заливается, лает на страшных людей, лавой обступивших телеги...

Прибывают новые толпы, словно из земли вырастают. Зарево огней зловеще отражается на их длинных баграх, на верхах нахлобученных на глаза шапок. Толпы густеют и надвигаются, виднеются уже страшные, озверелые лица ожесточенных страхом и несчастиями людей.

— Стой, робя! Не подходь близко!

— Не подходи! Она на два-сорока сажон берет...

— У-у-у! Бей их! Что глядеть!

— Бей, братцы! Язвенные...

— Из язвенных мест, из мору самово. Бей их!

— В огонь их! Баграми бери!

— Не подпущай их, братцы, не подпущай!

— Баграми тащи!

— Не трошь!

— Чаво, «не трошь»! Куда лезешь?

— Не трошь, говорят тебе, багром! Она по багру дойдет...

— Знамо, дойдет... Она хуже птицы, летает она...

— Она одново огня боится... Мышь словно

летуча, нетопырь...

— Не приходи, православные! Бога вы не боитесь! — раздается новый голос. — Она летает... она в Киев из турчины на сорочьем хвосте прилетела.

Толпа замирает на месте от этих слов... Она летает, что ж еще может быть ужаснее!.. Замерли и проезжающие... Безжалостная, беспощадная, «наглая» смерть глядела им прямо в очи... Храбрый по долгу службы, аккуратный по воспитанию, немножко педантический по темпераменту, немножко вороватый по крови, немец фон Шталь мысленно прощается с своею доброю супругою Амалиею, с своим сыном Карлушею, который весь в папашу, с своею дочкою Вильгельминушкою, которая вся в мамашу, и с своим генеральским чином, к которому он уже представлен его сиятельством, графом Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским... Сидящий против него в повозке молодой сержант Рожнов Игнаша тоже мысленно прощается с своею молодостью, с белобрысенскою, курносеньскою, прехорошеньскою Настею, которую он надеялся сегодня же обнять в Москве после долгой разлуки, обнять там в «сенцах», где когда-то в первый раз они... Эх!..

Все замерло, застыло в недоумении, в страхе, в нерешительности... Но недолга эта нерешительность в обезумевшей толпе: ожидание

беды, острый страх опьяняет как вино, страх за свои дома, за своих жен и детей, за свою жизнь... Тут один неосторожный крик доводит толпу до умоисступления, осатаняет... И этот крик, этот вопль раздается...

— Дядя Сырой, стреляй в их!

— Пали из поганого ружья! Она боится пороху, огня... Лущи их.

— О, мейн Готт. Дас ист шреклихер альс бай Кагуль ¹ — шепчет растерявшийся храбрый немец...

— Господи! Прими душу... Настя... Настенька...

В этот момент позади толпы раздается конский топот... Толпа колыхнулась... Это скачет конный разъезд, пики, сабли блестят...

— Прочь с дороги, разбойники! Кого грабите? — резко кричит передовой всадник.

— Что кричишь! Эвона! Мы не разбойники, не грабим-ста...

— Мы язвенных пымали, моровых...

— Чумные, слышь... Крадучись едут, — галдит толпа вперевой друг другу.

— Прочь, мерзавцы! Стрелять велю, колоть, рубить...

¹ О, Боже! Это ужасней, чем при Кагуле (нем.).

— Колоть! За что колоть?

— За что стрелять? Мы-ста не турки...

— Хуже турок, сволочь!

Всадники напирают конями, топчут, колотят взашей палашами... Толпа раздается... Смиреет за минуту грозная толпа, руки невольно поднимаются к шапкам, рыжие и русые всклокоченные головы обнажаются... Видны и свирепые лица, но нерешительные... некому крикнуть «братцы!», а то бы...

Передовой всадник, в конногвардейской форме, приближается к приежжам, не подъезжая, однако, к самым повозкам.

— Кто едет и откуда? — повторяется прежний вопрос.

— Войск ее императорского величества полковник и кавалер фон Шталь, комендант города Хотина, с двумя сержантами и ординарцами. Еду в столичные города Москву и Санкт-Петербург по делам службы...

— А! Имею честь рекомендоваться, господин полковник: я — конной гвардии полковой обозной Хомутов, по высочайшему ее императорского величества повелению командированный под главное смотрение и распоряжение его сиятельства, господина генерала фельдмаршала и московского главного начальника, графа Петра Семеновича Салтыкова, для наблюдения за проезжающими из

армии и Малороссии и для выдержания таковых в карантен... Как же вы, господин полковник, попали сюда? — спросил начальник конного разъезда, отрапортовав казенным штилем и с должным решпектом о своем звании.

— Да я, господин офицер, еду на Коломну.

— Но вы, господин полковник, съехали с почтового тракта...

— Это неспроста... они язвенные... чуму везут, — слышалось в толпе.

— Молчать! А то нагайками...

Многие в толпе почесали спины, по рефлексам ручных мускулов, по воспоминаниям, вспоминались ощущения нагаек... «А хлестко бьются, каналы, у! хлестко...»

— Как съехали, господин офицер? — недоумевает фон Шталь.

— Съехали, господин полковник... Почтовый тракт левее...

— Точно, вашеско-родие, съехамши маленько... нечистый попутал, чешутся ямщики. — Темень это ночью, вздремнули, поди, маленько, попутал лукавый.

— То-то! — засмеялся начальник конного разъезда. — Вас было за это и приняли в дубье...

— Это точно, вашеско-родие, приняли было... опаско...

— Язвенны, думаем, чуму везут...

— А она, анафемская, чу, летать, как птица, ну мы ее и надумали в огонь...

Толпа галдела уже в более мирном духе, от сердца отходило...

— Ну, господин полковник, вы и ваши служащие подлежите карантенному осмотру: я должен препроводить вас в карантен, для осмотра, — сказал Хомутов.

— Что делать, господин офицер! — со вздохом сказал фон Шталь. — Я не смею ослушаться закона... Я всегда был верным слугою ее императорского величества, всемилостивейшей государыни моей.

Светало совсем... Линия кордонных огней, тянувшаяся вдоль всего нагорного берега Оки, бледнела по мере исчезновения сумерек. Предрассветным ветерком дым гнало вдоль реки, и картина была все еще внушительная, зловещая... Лица народных стражников, сошедшихся и согнанных из всех окрестных правобережных сел, при утреннем свете казались бледными, истомленными... Да и как не истомиться в голоде и холоде, в ежеминутном ожидании, что вот «она», анафемская, невидимая, неслышимая, на птичьих крыльях летающая, за багры и шести, как бешеная собака, цепляющаяся, за зипуны хватающая — она, страшная, которой никто не видал и которой походки и лету никто не слышал, она вдруг

придет... может быть, уже пришла, сидит вон на том камне, вон там за кустом, на этом колесе, может, она на этой дуге сидит, в ямской, в валдайской колоколец звонит, в очи каждому смотрит, за плечи хватает, по телу мурашками ползает, как тут не исхудать, не побледнеть? «Одного огня, слышь, боится, ну, и жарь ее, анафемскую... А все за грехи да за нечистоту, сказывают господа... А где ее, чистоты-то этой, взять?.. До чистоты ли тут, коли на камне, в канавке, в кусте головой с ногами в лаптях без онуч, а где взять онуч? коли так-ту, по-скотски, по-собачьи спать-жить приходится? Где ее, чистоту ту, взять, коли в избе ребяткам малым да бабам с телкой сутельной да со свиньей супоросой спать приходится вместе? И то слава те Господи, коли есть телка... А то и на печь бы ее положил, за стол в передний угол посадил бы ее, коли бы была... а то нетути и ее, продана, а денежки за подушно дадены... А то — «чистота!». Где ее, чистоту-ту, взять, коли нечего жрать? Ну, и язва, ну и чума приходит, потому ни хлеба, ни чистоты нетути, начисто!..»

Толпа редела. Понурые головы расходились к своим сторожевым кострам...

— Ямщики, трогай! — скомандовал Хомутов, молодой видный мужчина, с простым добродушным выражением на круглом лице.

Повозки своротили влево и поехали узким проселком. Разъездная команда, по наряду Хомутова, разделилась надвое, и одна половина ее поехала берегом Оки вниз по течению, вправо, другая взяла влево, по направлению к Коломне, высокие колокольни которой красиво вырезывались по ту сторону реки, на синеве чистого утреннего неба... Доносился звон колоколов, не то утрени, не то ранние обеды шли... Должно быть, горячо молятся люди, видя эти зловещие огни и курева за рекой... Как не молиться?.. Вон и колокола звонят как-то молитвенно, в душу звонят, к самому небу кричат, к Богу, и в душе растопляется в елей этот медный, молитвенный звон... Молись, бедный русский народ, не на кого тебе надеяться, кроме Бога... Вон идет она поражать за твою нечистоту и бедность...

— А что у вас в армии новенького, господин полковник? — спрашивает Хомутов, следуя рядом с повозками, но в почтительном от них отдалении.

— Ничего, господин офицер, кроме благополучия, — отвечает все еще плохо оправившийся от переполоха храбрый немец. — Победы нашему храброму воинству Бог дарует.

— Да, точно... Кагул и Чесму не забудут турки.

— Не забудут (а в душе все еще грозные лица, дубье, багры, страшные возгласы толпы, не забудет

и он своего Кагула и своей Чесмы в виду Коломны).

— И удивительно, точно сговорились наши полководцы: тут у Кагула поражают неприятеля 21 июня, в день святого мученика Иоанна, а там при Чесме — 24 июня, в день рождества Иоанна Предтечи.

«Настенька... милая... красавица... Эх, задержут в проклятом карантене... Что-то она, похорошела?» — неволью, после беды, мечтается Рожнову при виде колоколен Коломны.

Заной, заной, сердечушко — эх, ретивенькое!..

— А вы из Петербурга сюда командированы?

— Из Петербурга... Скучно здесь...

— А давно?

— Недавно, только что учредили карантен.

— И долго нас, государь мой, продержите вы?

— Не знаю, господин полковник, как доктор за нужное признает... А вон и монастырь ваш.

— Карантен?

— Да, он самый.

Все со страхом взглянули на длинные, деревянные, наскоро сколоченные сараи, раскинувшиеся по нагорному берегу Оки, против самой Коломны... Бойни какие-то, с часовыми по концам и у ворот — настоящие загоны, куда скот перед боем запирают... Даже полковая Маланья, высунув из соломы свою умную мордашку, с удивлением посматривала то на эти сараи, то на

хмурое лицо хохла, которому, в проезд через Малороссию, не удалось повидаться с своею «дивчиною», с «чорнявенькою» и «кирпатенькою» Горпиною... Уж и «дивчина» же эта Горпина! «чорна коса, як Горпина йде, по ягодицам бье»... «билы щоки мов вишнею намазани»... «чорны брови на шпурочку»... «а за пазухою таке, що и не вщипнешь, и в величенну шапку не влизут»...

Над всем зданием и вокруг него клубами ходит дым. Своеобразный смолистый запах этого дыма слышится издали. Страх невольно забирается в душу... Это жертвенный дым, исходящий из великой скинии для умилоствления гневного божества...

Мычанье скота, запертого в загоны и окуриваемого, тоску наводит... Повозки проезжают мимо свежевырытого рва, который тоже дымится. По сю и по ту сторону рва рогатки; это запоры для нее, для смерти, которая носится в воздухе вместе с дымом...

Из-за тогобочных рогаток какой-то всадник машет шапкой. Хомутов осаживает своего коня. Это вестовой казак из города прискакал, шапкой знаки подает...

— Откуда, Гаврилыч, и с чем? — кричит Хомутов вестовому.

— Из моровой комиссии, ваше благородие! — приложив ладони ко рту, выкрикивает тщедушный

«Гаврилыч».

— С чем?

— С вестями... Лепорты привез.

— Давай!

Казак достает из подсумка, висящего через плечо, пакет с «лепортами». За плечами у казака лук и в кожаном, потертом донельзя колчане вязанка самодельных стрел с грубыми наконечниками. Вестовой вынимает из колчана одну стрелу и к первому концу ее привязывает пакет. Затем снимает с плеча лук, накладывает на него стрелу и натягивает тетиву.

— Ловите, ваше благородие! — кричит он.

Стрела взвизгивает, перелетает через ров и рогатки и падает у самых копыт коня Хомутова.

— Ловко, молодец, как раз угодил, — одобряет Хомутов вестового. — Вот какова у нас почта, на стрелах любовные цидулочки из моровой комиссии получаем, — улыбаясь, обращается он к приезжим.

— О! Дас ист цу шрекклих! — не вытерпливает немец.

— Ну, шрекклих не шрекклих, господин полковник, а скучно.

Один из казаков, сопровождавших Хомутова, соскакивает с коня и, подняв стрелу с привязанным к ней пакетом, подает ее офицеру...

— По секрету, ого! — читает Хомутов

надпись на пакете.

Вестовой, что привез пакет, снова машет шапкой из-за рогаток.

— Ваше благородие! Ваше благородие! — кричит он в рупор из своих ладоней.

— Что тебе, Гаврилыч?

— Квиток, ваше благородие!

— Какой там квиток?

— Квиток... расписочку, значит, что получил лепорт.

— Ладно, подожди! — потом, обратясь к фон Шталю, прибавил: — Ведь у нас и расписку ему выдать не иначе можно, как через карантен. Сначала ее напиши, да высуши, да в уксус омочи, да там ее через огонь окурят, тогда и бросай на стреле на тот бок... Беда! А то она, проклятая, может, на клочке бумаги сидит, либо в чернильницу забралась, либо на конце пера угнездилась, ну, без карантену да без окуриванья огнем и нельзя ничего посылать на тот бок... Перекинешь и ее анафемскую на стреле... Вот дожили.

Повозки остановились у ворот карантина. Ух, это точно кладбище для живых...

III. КАРАНТИН. БЕГСТВО ЗАБРОДИ

Карантинные здания состояли из трех рядов низеньких, длинных, отгороженных одна от другой

деревянных казарм, при одном взгляде на которые у приехавших сжалось сердце.

Собственно карантинные лазареты расположены были по краям этого живого кладбища. Это были длинные, очень длинные параллелограммы, с своей стороны разбитые на маленькие, в несколько сажен параллелограммики, в которых вмещались маленькие дворики с крохотными, на одной стороне крытыми навесниками и такими же крохотными в два крохотных окошечка домиками, находившимися в общей связи и под одною тесовую крышею со всеми прочими крохотными домиками общего, большого, сильно удлиненного лазаретного параллелограмма. Достаточно вообразить длинную, очень длинную, конюшню, разбитую на соответственное число стойл: каждое стойло вмещает в себе и крохотный домик со светлую комнаткою, кухнею и печкою; и свой длинненький, открытый, но отгороженный от другого, дворик; и свои отдельные воротцы, запертые на замок, ключ от которого у карантинного доктора; и свое единственное отверстие, в которое по маленькому желобу вливают воду в чан для заключенных в этом параллелограммике...

По длинной крыше лазаретов лепятся трубы по числу карантинных покоев.

Между лазаретами тянутся карантинные

службы, заключенные в особую деревянную ограду: на первом плане караульня, вмещающая в себе покои офицерские, писарские, унтер-офицерские и жилья для часовых и конвойных. Далее покои для доктора, аптекаря и фельдшеров, покои комиссарские, служительские для могильщиков («мортусов» в смоляном платье); особо для поваров, прачек. Тут и амбары для съестных припасов, и амбары курительные, и сарай для карантинного имущества, для скота...

Все чувствует себя заживо погребенным, вступая в это чумное чистилище... Никто не смеет приблизиться друг к другу, прикоснуться, каждый боится всех и все каждого...

По знаку Хомутова привратник растворил карантинные ворота, и повозки въехали во двор.

На дворе было пусто: в тот момент, когда во двор вступали вновь прибывшие жертвы чистилища, никто, кроме доктора и его помощников, а ровно страшных «мортусов», одетых во все смоляное, в смоляных рукавицах и в смоляных масках на лицах, никто не смел показываться на дворе.

Выходит доктор, молодой, плечистый, полнолицый мужчина, которого жизнь, по-видимому, еще не истрепала и который еще ищет на жизненной арене борьбы, подвигов, опасностей, ищет пробовать свои силы и силы

неведомого, страшного, но тем более обаятельного врага.

Начинается, пока опять-таки издали, обстоятельный допрос: кто, откуда, с чем, зачем... В ответе слышатся слова, названия, звучащие особенно внушительно: «Хотин», «Бессарабия», «Кагул», «турки», «армия», «Малороссия», «заставы»...

— Вы подлежите тщательному осмотру, — говорит доктор после предварительного допроса.

Приезжие непосредственно из чумных мест — да это такие интересные, драгоценные субъекты для молодого, любознательного врача, который жаждет помериться силами с неведомым чудовищем!

— Пожалуйте в визитную камеру, — говорит он любезно, — я имею честь с вами короче познакомиться, и лично, и... телесно, — шутит молодой врач. Эй, вы! — машет он страшным мортусам, стоящим в стороне и ждущим своих жертв. — Отберите все вещи, которые принадлежат приезжим... Лошадей с ямщиками и повозками, господин полковник, вы отправляете обратно? обращается он к фон Шталю.

— Да, государь мой... Отберите все наши вещи и расплатитесь с ямщиками, — приказывает он своим ординарцам.

Бедная Маланья забилась в солому и со страхом лает оттуда на страшных мортусов, она

никогда еще не видала таких чудовищ.

— А эта собачка ваша? — спрашивает доктор.

— Наша, господин доктор.

— Казенная, полковая собственность, — улыбается сержант Грачев, широкоплечий друг Рожнова Игнашки, хотя у самого кошки скребут на сердце.

— А... Эй, мортусы!

Мортусы, взятые из тюрьмы каторжники, которым все равно не житье на вольном свете, и засмоленные от смерти, подходят к доктору.

— Возьмите эту собачку и привяжите особо...

Она также подлежит карантинной выдержке...

— Воно, ваше благородие, не дастся, — пасмурно замечает мешковатый хохол.

— Как не дастся?

— Ни, не дастся, воно зле...

— Вот тебе на! — смеется доктор.

— Воно им, этим чертям, руки покусает...

— Ничего, не покусает...

Приезжих вводят в визиторскую камеру. Тут тоже торчат черномазые, в образе эфиопов, мортусы.

— Прошу, господин полковник, раздеться донага, — обращается доктор к фон Шталю.

Немец повинуется, ворча себе под нос: *es ist*

abscheulich ². Рыжий помогает ему раздеться, снимает с него рейтузы, сапоги, чулки и обнажает сухие щепки, обтянутые сухой кожей... Немец ежится...

— Ничего, прекрасно... тело чистое... язвенных знаков нет, — бормочет доктор, внимательно всматриваясь в сухую, пергаментную кожу немца. — А это что за синий знак под левым сосцом?

Немец конфузится...

— Это ничего, так себе, пустяки, господин доктор...

— Однако же? Я все должен знать...

— Пустяки... глупость молодости... это имя Амалия, моей супруги... выжжено... порохом натерто...

— О! Понимаю, понимаю... Довольно... Обмыть господина полковника и одеть в карантинное платье, — приказывает он приставнику с мортусами.

Раздевают и осматривают молодых сержантов, сначала широкоплечего атлета Грачева.

— О! Завидное, богатырское сложение... дыхательный ящик бесподобный, есть где поместиться легким и всему рабочему аппарату

² Это отвратительно (нем.).

тела, — удивляется словоохотливый доктор. — А это что у вас на шее?

— Образок... Память умершего друга...

— Умершего?... Давно?

— В мае, господин доктор.

— А где?

— В Бессарабии, у Прута, недалеко от Ясс, на привале...

— Гм... А какой болезнью?

— Гнилою горячкой, господин доктор...

— Гм-гм... Гнилою горячкой... с пятнами?

— Да, с пятнами...

— Быстро? Да?

— Да... скоро... очень... в два дня...

— Гм... И этот образок был у него на теле?

— Да, господин доктор... Я везу его к невесте покойного и к матери.

— Так-так... прекрасно... Это вы знаете, что везете у себя на груди? Чуму!.. Только благодаря вашему богатырскому здоровью вы еще ходите по земле с этим страшным талисманом на теле... Взять его и особенно рачительно окурить и выветрить (это к фельдшеру).

Грачев снимает с себя образок и отдает фельдшеру.

Упрямее всех оказался мешковатый хохол: уперся, как вол, и не хочет раздеваться...

— Раздевайся! Я тебе приказываю! —

горячился доктор.

— Ни, ваше благородие, не треба...

— Как не треба! Что ты!

— Не треба-бо... не гоже воно... соромно...

— Вот чудак! Соромно ему... Как же все раздевались, и господин полковник, и офицеры?

— Та негоже ж!.. Вони тут. (Хохол указал на полковника.)

— Я тебе приказываю... Слушай команду: долой платье! — скомандовал немец, на голом теле которого не оставалось никаких знаков полковничьего звания.

«Слушай команду» было магическим словом для упрямого хохла: он тотчас же сбросил с себя одежду и, вытянувшись в струнку, руки по швам (швов, правда, уже не было на голом теле), стоял колосс колоссом... Эка телище! Эка мускулы стальные, что за грудь и плечи! Недаром так млела и трепетала на этой каменной груди «чорнявенькая» и «кирпатенькая», тоже с богатырскими, только в своем роде, грудями, дивчина Горпина...

— Что за молодчина! — вырывается невольное восклицание доктора. — Да этого бронзового тела никакая чума не возьмет... Ну, молодец, братец!

— Рад стараться, ваше благородие!

Чего тут стараться! Сама природа постаралась

сколотить такую грудь, такие мускулы, вырастить такую косую сажень... Хорошая была матушка, породившая такое чадушко, да и природа, знать, была не мачеха, что вырастила, вылелеяла, выходила такое тело, славное, молодецкое... Украина-матушка, хатка беленькая, чистенькая, садочек вишневый, вербы шумливые, «гаи зелененьки», поля цветливые, солнышко жаркое да приветливое, реки с берегами густолозовыми, ночи чудные, песни дивные, вот что вырастило, выхолило этого детину бронзового... Это не то, что вот москали с дубьем, что живут как козы голодные, как «коза-дереза». А он и ел вдоволь, и пил воду из чистой «криницы»...

— Ну, молодец! В гвардию бы такого.

— Я и везу представить его... — самодовольно заметил немец.

— Отлично! А как тебя зовут?

— Василием... Василий Забродя, ваше благородие.

Начался процесс обмывания водой с уксусом. После обмывания на приезжих надели казенное карантинное платье, на офицеров потоньше, а на солдат потолще; а снятое с них платье обозначили особыми номерными ярлыками и сдали для окуриванья и проветривания в особых курительных сараях.

На дворе слышится хохот и собачий лай. Это

мортусы хотят лишить свободы полковую Маланью, которая так же упряма, как и ее любимец Василь Заброя...

Из визиторской камеры приезжих повели через двор в самый карантин, в тот огромный параллелограмм, который разбит был на маленькие параллелограммики.

Полковника с сержантами доктор ввел в крайний дворик и объяснил им его расположение и все, что нужно им было знать.

— Вот здесь, господа, на дворе, вы будете гулять в ясную погоду...

— Есть где разгуляться! — невольно заметил Грачев.

— По две квадратных сажени на персону приходится, конечно, немного!..

— Это гроб...

— Ну, уж и гроб... Помилуйте... Гроб теснее... А вот милости просим в покои, добро пожаловать, господин полковник.

Немец следовал за доктором молча, насупившись... В карантинном платье он смотрел совсем не храбрым полковником, который еще недавно дрался на Дунае с турками.

Они вошли в домик в два окошечка.

— Вот ваши койки, жестковаты, правда, но чисты... Вот скамеечка, тут и вся кухня ваша... Только уж извините, господа, вы сами должны быть

и поварами для себя.

— Как? Почему так?

— С этого момента, как я ввел вас в это помещение, вы разобщаетесь со всем миром. К вам ни одна живая душа не смеет входить, кроме меня и фельдшера. Провизию вам будут вносить в ту вон калиточку, ключ от которой у меня, и ставить на землю, а уж готовить извольте вы сами. Вода проведена к вам в особый чан. Порции я вам пропишу хорошие, провизию питательную, вы заживете припеваючи...

— Что ж мы будем тут делать? — с досадою спросил полковник.

— Все, что угодно...

— То есть как же? И читать?

— О, нет! Да и читать у нас нечего... Во всей Коломне я видел один истрепанный номер «Трудолюбивой Пчелы», но и тот сюда не дадут, побоятся заразы... Мы, господин полковник, от мира отведенные...

— Но это ужасно! Я привык к смотрам, к ученью...

— Ну, этого у нас здесь нет... Развлекайтесь, как умеете: спите, гуляйте, кушайте, пойте...

— Мы будем сказки сказывать друг другу, — засмеялся Рожнов.

— Да, сказки... Ну вот кстати: у вас тут и развлеченье... Пожалуйте к этому окну.

Подошли к окну, выходявшему не во двор, а в поле. Действительно, внизу синелась Ока, по которой кое-где колыхались облачка карантинного дыма. У того берега виднелись запоздалые суда. Редко-редко темнелась на воде лодочка... Да и кого понесет оттуда на эту чумную, обреченную смерти сторону?.. Коломна смотрит как-то пугливо, словно прячется... Высокие колокольни высятся по небу, словно вздетые горе руки, просящие у Бога пощады, помилованья... Спаси, Господи, люди Твоя!.. Не отврати лице Твое...

— Здесь и вид прелестный, и людей живых и свободных вы видите, сказал доктор.

Да, там люди, много людей. Это карантинный рынок на берегу Оки... Но, Боже мой! Что-то страшное, пугающее воображение видится и в этой картине...

Вдоль берега тянется двойной ряд рогатных заграждений. Рогатки от рогаток стоят более чем на сажень. Среди этого интервала нет ни одного живого существа в человеческом образе, снуют только засмоленные с головы до ног мортусы. Вдоль рогаток часовые, строго следящие, чтобы толпы, стоящие по сю сторону рогаток, не имели никакого соприкосновения с теми, которые по ту сторону.

— Господи! Да она, проклятая, всех сделала арестантами... Вся Россия под конвоем! —

невольно воскликнул Грачев, поняв, что изображала собою картина карантинного рынка.

Да, действительно, этот бич Божий все человечество превращает в арестанта... Каждый под стражею, каждый боится всех и все каждого... Везде часовые, рогатки, дозор, конвой, только кандалов не видать... Люди, съехавшиеся на рынок по крайней, буквально по голодной нужде, не смеют, ужасаются приблизиться друг к другу. Продавец боится покупателя, покупатель с ужасом смотрит на продавца... А может быть, у него зараженный товар, зараженная мука, крупа, яйца... А у покупателя, быть может, зараженные деньги... Да это ужас! А есть и тому и другому хочется... Господи! Да за что же этот бич? За грехи, за бедность да нечистоту.

По ту сторону рогаток это те, которые живут по ту сторону карантинной линии, за Окой... Это самые бедные из коломнян, которым там, в Коломне, есть нечего, все вздорожало, и они с голоду, с риском за свою жизнь (все равно помирать от голоду придется), перебираются сюда, на чумную сторону, чтобы купить чего-либо съестного подешевле... А может, оно заражено... ну, все равно пропадать!

Как по ту сторону карантинного ограждения толкаются только самые бедные и самые голодные из нечумной местности, так и по сторону

заграждения бродят только самые бедные и самые голодные из чумной полосы... Там голодные покупатели, здесь голодные продавцы... Курочку ли продать, барашка, коли у кого есть, овсеца, мучки сбуть туда да заплатить подушные, а там купить бы чего подешевле да утолить голод... И все это под арестом.

И вот идет страшный торг между арестантами. Люди торгуются через рогатки, при посредстве комми-мортусов. Здешние чумные продавцы кладут свой товар на землю, за рогатку, и ожидают полочки денег; а тамошние, тогбочные, коломняне, показав издали деньги (тогда еще не было бумажных денег в таком изобилии, как теперь, а ходила больше звонкая монета), опускают их в длинные чаны и корыта, наполненные водою с уксусом. Один мортус подходит и берет товар и переносит через разложенные вдоль всего заграждения горящие костры, если товар — мясо... товар окуривается... Если товар — птицы или овцы, то их тотчас моют в чанах, тоже наполненных водою с уксусом... Другой мортус вылавливает из чана или корыта деньги и вручает их продавцу...

Огонь и дым костров, крик купаемой в чанах птицы, бляенье овец, принимающих невольную ванну, возгласы часовых: «Стой! Не ходи! Берегись!» и покрикиванья мортусов на продавцов и покупателей — «Бери алтын! Тащи поросенка!»

— визготня адская этих самых поросят, окунаемых в чан с уксусной водой — и над всем этим как бы невидимый перст гневного Бога: на кого он направится? Кого назнаменает знамением смерти: кого первого выхватит из этой робкой, растерявшейся толпы, кого второго, третьего?..

И вот потянулись бесконечные дни и ночи для наших заключенных... Тоска неисповедимая! Каждое утро невидимая рука оставляла у калитки карантинного дворика дневную порцию съестных припасов и дров. Каждый день заходил словоохотливый доктор, который для заключенных казался вестником жизни, посланником Бога милующего и спасающего... По целым часам они стояли у окна, выходящего на Оку, смотрели на карантинный рынок, на Коломну, высокие колокольни которой продолжали тянуться с мольбою к безжалостному небу.

Сначала фон Шталь завел было у себя на дворике маневры, смотры, ротное ученье, немилосердно муштровал бедных сержантов, попеременно муча своими командирскими затеями то широкоплечего Грачева, у которого из головы не выходил образок-медальон покойного друга, талисман, несущий будто бы чуму в Москву, то черномазого Рожнова, у которого, напротив, не выходила из головы Настенька и какие-то «сенцы, где в первый раз»... и так далее... Голос фон

Шталя, выкрики «направо» и «налево», «стой-равняйся» и «марш» раздавались от раннего утра до обеда; но потом и это надоело, и настал период сказок: немец так полюбил русские сказки, особенно искусно рассказываемые Грачевым, что и по ночам не давал ему спать, заставляя рассказывать то о «трех-сын-добром молодце», то о «моложеватых яблоках», то о «семи Семионах».

Забродя и его рыжий товарищ, которого, кстати заметим, звали в полку «Рудожелтым Кочетом», помещались рядом с своим начальством, забор к забору. В их же дворике поместили и «полковую Маланью», которая этому была очень рада и служила источником нескончаемых утех для заключенных. По целым часам они учили ее прыгать через палку, носить им шапки, стоять на задних лапках и, наконец, ухитрились восстановить ее даже против чумы: для этого Рудожелтый Кочет нарисовал на заборе углем какую-то страшную фигуру, вроде богатыря Полконя или Полкана, и назвал ее «чумой». Сделав страшные глаза и став на четвереньки, рыжий обыкновенно с рычаньем бросался к нарисованному на заборе чудовищу, бормоча: «Чума! Чума! Чума!» Маланья, по природе доверчивая, видя в таком азарте своего господина, тоже с неистовым лаем бросалась на мнимое чудовище, и торжество скучающих заключенных выходило полное, так что им даже

завидовал сам фон Шталь.

Несмотря, однако, на эти забавы, Забродя тосковал. Им все больше и больше овладевала тоска по родине. Особенно по ночам он нигде не находил себе места. Он уже и счет потерял этим проклятым ночам!

И вот опять тянется эта скучная, томительно-длинная, бесконечная ночь. Товарищ, растянувшись на койке, ровно, однообразно посапывает. Все спит, не спится одному лишь Забрوده, не спится, но много думается. Вспоминается родная Украина, белая хатка в тени густолистных верб, зеленая левада и вишневый садочек... Уж эти вишневые садочки! Из-за них украинец на чужбине сохнет и на кушаке вешается... Вспоминается Забрوده последнее свидание с Горпиною в этом садочке накануне рекрутчины... Забродю берут в «москали», завтра ведут в город «сдавать» как товар... А они с Горпиною думали под венец стать, своею хаткою с вишневым садочком обзавестись... Так нет, взяли-таки в «москали», не пожалели ни Горпининых горячих девичьих слез, ни материных вдовьих, самых горячих на свете слез... Да, все это припоминается в эту долгую осеннюю ночь в московской тюрьме проклятой...

Вот из-за бузинового куста тихо выходит заплаканная Горпина... А соловейко-то щелкает,

соловейко заливается — словно «дяк» ночью читает над покойником... Горпина так и повисла на воловьей шее парубка захлебывается, плачет, обнимаючи да целуючи черноусого... И он всплакнул «парубоцькими» жгучими слезами, целуючи свою кароокую, полногрудую дивчину... А девичьи груди разорваться хотят под безутешное всхлипыванье, так и колотятся об богатырскую грудь парубка... «Серденько мое!..» «Яблучко мое червонее!» — «Василечку мий, барвиночку зеленый, ох, ненько ж моя, матинько!» — «Я вернусь до тебе, моя ясочко»...

— Э! Вернусь... Как тут вернешься!.. А вона вже, може, с другим спарувалася... Хоть повеситься, так впору!

А за окном, под сарайчиком, так жалобно воеет бедная собака. И она тоскует по ночам: с тех пор, как заметили, что по утрам она всегда пробовала провизию, приносимую заключенным, раньше, чем они просыпались, ее на ночь стали привязывать, и вот она скучает. Жаль бедного «щуцинятка», и себя Забрوده жаль...

«Хиба утикти!» — словно обухом поражает его внезапная мысль... Бежать! Отсюда, из этой тюрьмы, от бесконечной каторги. Но как бежать? Куда? Туда, на Украину, в зеленый гай, в вишневый садочек... Хоть по ночам подходить к родной хате и бродить около вишневого садочка Горпины...

Страшная мысль все более и более овладевает душой и волей. Находит какое-то безумие... На подмогу является податливая совесть, у которой, как у Горпины, такое доброе сердце... Ведь отсюда бежать — не из полка бежать: за это не расстреливают, а если сквозь строй прогонят, то у Заброди такая спинная доска, вскормленная матушкою-Украиною, что десять тысяч шпицрутенов выдержит и заживет... Повидаться только с своими, взглянуть на Горпину, как она там с другим парубком женихается... О, не дай Бог! «Вона не женихается, вона мене выглядатиме»...

Торопливо, лихорадочно закутывает он ноги онучами, захватив при этом и ощупью найденные онучи беспечно спящего товарища; надевает казенные коты; на халат вздевает казенный серый чапан, туго подтягивается, ощупью отыскивает шапку, судорожно крестится — «Мати Божа! Мати Божа!» — и неслышными шагами выходит в сенцы, а оттуда под сарайчик.

Собака разом замолчала, угадав, кто к ней идет. Забродя, припав на корточки и тихонько отбиваясь от собаки, которая радостно лизала ему руки и лицо, зубами перегрыз веревку.

Собачья головка уже торчит у Заброди из-за пазухи. Он и ее берет с собою на Украину... «Нехай и воно, бидне цуцинятко, по воли побигає»...

— Хто там? — раздается окрик часового.

Забродя молчит, он уже на заборе.

— Стой! Кто там? Стрелять буду! —
повторяется оклик.

«Не попаде москаль, — думает Забродя, — далеко дуже... и оружие погане, не попаде»... И спускается на волю...

«Раз-два-три».

Раздается выстрел, и Забродя пластом падает на землю. Вот тебе и воля, вишневый садочек, Украина... Только собака воеет, да часовой глядит в красивое мертвое лицо, не смея нагнуться к чумному...

IV. «МОРОВОЙ МАНИФЕСТ»

В морозное январское утро 1771 года в Москве у Варварских ворот то там, то здесь народ кучится около какого-нибудь говоруна, и толкам нет конца. Через пятое-десятое слово слышится то «Моровая язва», то «Перевалка», то «На Москву идет», то «До Москвы не дойдет», то уж «Пришла на Москву».

Более всего скучивается народ, фабричные и дворовые люди, да сидельцы из Охотного, Обжорного и Голичного рядов около одного старенького, обдерганного священника, который держит в руках раскрытую книгу и корявым, посиневшим от холода пальцем тычет в одну из ее

страниц...

— Вот тут оно и есть написано, — говорит он, стараясь, по-видимому, убедить краснощекого детину в старой лисьей шубе и огромнейшей меховой шапке, постоянно ссовывающейся ему на серые плутоватые глаза.

— Вот слушайте, православные, что глаголет Господь Моисею в книге Левит.

— Ну-ну, катуй-катуй, батька! — слышатся одобрительные возгласы из толпы.

Попик откашливается, сморкается «Адамовым платком», как он называет свою пригоршню, и дрожащим голосом читает:

— Вся дни, в няже будет на нем язва, нечисть будет, отлучен да сedit, вне полка да будет ему пребывание...

— Ну, что ж ты мелешь! — перебивает его детина. — Это не про нас писано, а про солдат... Вне полка, слышь... А он на-ко что выдумал!

— А ты не перебивай! — горячится попик. — Полк, это по-нашему приход, а то и дом...

— Толкуй!

— А ты ну, читай ин! — подстрекают другие.

— Аще же рассыпая язва по ризе, или по прядене, или по кроках...

— «По ризе!» — снова возражает детина. — Да это, братцы, только про попов писано... «По ризе!» Ишь что выдумал! Али у меня риза лисья! А

порки, поди, тоже риза по-твоему?

Попик нетерпеливо машет рукой на такое невежество...

— Аще же, — упрямо продолжает он, — рассыпая язва по ризе, или по прядене, или по кроках, да сожжет риза, прядения и кроки и да отлучит жрец язву на семь дней...

— Жрец! Вон куда хватил! Жрец, чу... А где ты на Москве-то жреца найдешь? — настаивал пессимист-детина.

— А ты знаешь ли, брат, что такое этот жрец самый?

— Как не знать! Только у нас на Москве жрецов не бывало...

— Ан есть жрецы! Я сам жрец, вот и поди на...

— Ишь ты, жрец какой!.. Фу-ты ну-ты! Жрец! А самому, поди, жрать, нечего...

Толпа хохочет. Попик смотрит растерянно: краснощекий детина попал не в бровь, а прямо в глаз. Попик оказывается заштатным, которых тогда по Москве толкалось видимо-невидимо.

В Москве в то время еще жив был старый обычай, начало которого восходило ко временам вечерной жизни «господина Великого Новгорода» и Пскова: все свободные, безместные и заштатные священники каждое утро, бывало, толкаются у «веча», на вечерней площади, как на рынке, и

торгуют своим священством: кому подешевле акафист спеть, кому дешевенькую обеденку слитургисать, по ком за осьмину овсеца сорокоуст справить, кому за яичко молитву в шапку дать, либо за поросеночка и соборованье, и литеишку отмахать, «гуляющий поп» тут как тут. Обычай наемного священства, с утратою вечерней жизни, перешел в Москву с вече прямо на базар, на рынок, к Спасским да Варварским воротам. Настанет утро, и Москва валит на «толкун». «Толкун» — это старое вече: кто нанимает себе дровокола, кто ледокола, кто стряпку ищет, а кто «попика гулящего» на часы, на панихидку, на литургейку махоньку, на алтынную...

От таких «гулящих попики» богомольная Москва каждое утро стоном стонала: то Голичный ряд задумает устроить «ходы с водосвятием» да с акафистцем, чтобы товарец их милостей, купчин Голичного ряда, голицы да рукавицы, шибче в ход шли да барыши несли; то Охотный ряд надумает утереть нос своим благочестием и Голичному и Обжорному ряду с Ножовою линией и затеет крестный ход на славу, и вот тут-то «гулящие попики» всегда на руку... Звон такой, бывало, идет по Москве, такое славословие да ангельское кричание велие, что голуби пугаются, вороны и галки как бешеные по небу да над Иваном Великим метутся и оглашают воздух неистовым карканьем.

Тогдашний архиепископ московский Амвросий Зертыш-Каменский, дед известного историка Бантыш-Каменского, по воспитанию и по привычкам более украинец, чем великороссиянин, человек, получивший широкое духовно-богословское образование, недоступное в то время для великорусского духовенства, вспоенный притом далеко не в древле-московском духе, который царил в Москве в XVIII веке столь же крепко, как и в XVI и как продолжает царить до некоторой степени и в XIX столетии, преосвященный Амвросий давно обратил внимание на это московское древле-вечевое, рыночно-уличное благочестие, из Охотного и Голичного ряда назойливо кричащее до самого неба, и увидел, что главные виновники этого благочестивого гама, вечевые «гуляющие попики» с их площадным литургисанием по найму.

— Это не иереи, а дервиши, — говаривал он часто, видя, как толпы народа то и дело валма валят за импровизированными крестными ходами, устраиваемыми то Ножовою линиею, то Голичным рядом для того, чтобы шибче шли в ход голицы и рукавицы, — подобает взять вервие и изгнать из храма сих торгашей благодати.

— Не ломайте старины, владыка, — предупреждал его протоиерей Левшинов, человек замечательно умный, но вполне знакомый с